

P2
A90

Николай
Асеев

ИЗБРАННОЕ

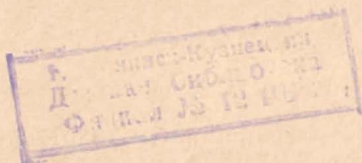


4426

Книга должна быть возвращена не позже
указанного здесь срока

Николай Асеев

ИЗБРАННОЕ



Кемерово
Кемеровское
книжное издательство
1979

Асеев Н. Н.

А90 Избранное. Стихотворения. Поэмы. Художник Г. И. Кравцов. Составитель Л. В. Глебова. Кемерово, Кемеровское книжное издательство, 1979.

160 с., 50 000 экз. 90 коп.

В сборник вошли наиболее известные произведения выдающегося советского поэта.

А $\frac{70402-12}{M144(03)79}$ 37—79

© Кемеровское книжное издательство. Состав., оформление.

РОССИЯ ИЗДАЛИ

Три года гневалась весна,
три года грохотали пушки,
и вот — в России не узнать
пера и голоса кукушки.

Заводы весен, песен, дней,
отрите каменные слезы:
в России — вора голодней
земные груди гложет озимь.

Россия — лен, Россия — синь,
Россия — брошенный ребенок;
Россию, сердце, возноси
руками песен забубенных.

Теперь там зори поднял май,
теперь там груды черных пашен,
теперь там — голос подымай,
и мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
и говор голубей развешан,
и ветер пену шевелит
восторгом взмыленных черешен.

Заводы, слушайте меня —
готовьте пламенные косы:
в России всходят зелены
и бредят бременем покоса!

1920

Владивосток

КУМАЧ



Красные зори,
красный восход,
красные речи
у Красных ворот,
и красный,
на площади Красной,
народ.

У нас пирогами
изба красна,
у нас над лугами
горит весна.

И красный кумач
на клиньях рубях,
и сходим с ума
о красных губах.

И в красном лесу
бродит красный зверь...
И в эту красу
прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
согнали в ряды,

мы красные в небо
врубили следы.

За дулами дула,
за рядом ряд,
и полымем сдуло
царей и царят.

Не прежнюю спесью
наш разум строг,
на новые песни
все с красных строк.

Гляди ж, дозирая,
веков Калита:
вся площадь до края
огнем налита!

Краснейте же, зори,
закат и восход,
краснейте же, души,
у Красных ворот!

Красуйся над миром,
мой красный народ!

1921

МАРШ БУДЕННОГО



С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Не сынки у маменек
в помещицьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат —
сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем, —
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия — вперед!

1923

РЕКВИЕМ

Если день смерк,
если звук смолк,
все же бегут вверх
соки сосновых смол.

С горем наперевес,
горло бедой сжав,
фабрик и деревень
заговори, шаг:

«Тяжек и глух гроб,
скован и смыт смех,
низко пригнуть смогло
горе к земле всех!

Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами родн,
жизнь, отмсти за него!»

С горем наперевес,
зубы бедой сжав,
фабрик и деревень
ширься, гуди, шаг:

«Стой, спекулянт-смерть,
хриплый твой вой лжив,
нашего дня не смей
трогать: он весь жив!

Ближе плечом к плечу,—
нищей ли широте,

пасынкам ли лачуг
жаться, осиротев?!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, тугой шаг:

«Станем на караул,
чтоб не взошли враги
на самую
дорогую
из наших могил!

Если день смерк,
если смех смолк,
слушайте ход вверх
жизнью гонимых смол!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, сплошной шаг!

1924

СИНИЕ ГУСАРЫ

1

Раненым медведем
 мороз дерет.
Санки по Фонтанке
 летят вперед.
Полоз остер —
 полосатит снег.
Чьи это там
 голоса и смех?
«Руку
 на сердце свое
 положа,
я тебе скажу:
 ты не тронь палаша!
Силе такой
 становясь поперек,
ты б хоть других —
 не себя —
 поберег!»

2

Белыми копытами
 лед колотя,
тени по Литейному —
 дальше летят.
«Я тебе отвечу,
 друг дорогой,—
гибель нестрашная
 в петле тугой!

Позорней и гибельней
 в рабстве таком,
голову выбелив,
 стать стариком.
Пора нам состукнуть
 клинок о клинок:
в свободу —
 сердце мое
 влюблено!»

3

Розовые губы,
 витой чубук.
Синие гусары —
 пытай судьбу!
Вот они,
 не сгинув,
 не умирав,
снова собираются
 в номерах.
Скинуты ментики,
 ночь глубока,
ну-ка — вспеньте-ка
 полный бокал!
Нальем и осушим
 и станем трезвей:
«За Южное братство,
 за юных друзей!»

4

Глухие гитары,
 высокая речь...
Кого им бояться
 и что им беречь?



Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.

Я тебя запомнил дóкрепка,
ту, что много лет назад
без упрека и без окрика
загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую,—
всё нежней и всё тесней,—
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как выюга выючила
груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты — всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1926

ЗАПЛЫВ



У тебя
 молодая рука,
пред тобою —
 синеет река.
Слушай мудрость
 и помни одну:
не стремись
 раньше срока
 ко дну.
Разве можно
 в мечтах изомлеть
на высокой
 на этой земле?
Разве можно
 тоской истекать
из-за каждого
 пустяка?
Если сердце
 и солнце —
 теплы,

надо прыгать с размаху
и плыть.
Рассекая вразлет
эту тишь,
ты ли —
ласточкой —
сверху летишь?
Легши на бок,
напрягши плечо,—
ты весь мир
за собою влечешь,
постепенно
волной овладев,
на воде,
на веселой воде...
Предо мной —
половина реки,
на меня
еще лгут старики.
Помню мудрость
и знаю одну:
не идти
раньше срока
ко дну.
Не из прихоти,
не из причуд
я в стихе своем
сальто кручу,—
но мне страшно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле.
Я не дамся
тоски пустяку
виснуть грузом
и ныть по стиху.

Легши на бок,
напрягши плечо,—
я вперед уплываю
еще,
постепенно
волной овладев,
по веселой
и светлой воде,
И за мной,
не оставив следа,
завивает
воронки
вода.

1926



ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Время, время,
 не твое ли зверство
не дает
 ни сил, ни дней сберечь?
Умираем
 от разрыва сердца,
чуть прервав,
 едва закончив речь...
Умираем
 не от слезной муки,
не от давней
 раны пулевой,—
умираем,
 напрягая руки,
над огромной
 ширью полевой.
Как поднять ее
 с другими вровень,
как подставить ей
 свое плечо,
если
 путь ее —
 биеньем крови,
а не медом с молоком
 течет?
Соль и уголь
 залегли пластами...
Как их слить,
 в одно соединив,

чтоб сошлись
навек
в одном составе
лязг заводов
с пошелестом нив?
Сердцу тяжело...
Сердце ведь не камень:
напряги —
и дрогнет вперебой
под кулями,
рельсами,
станками,
под своей
и общею судьбой!
Но не рабским,
подневольным пленом
вызван к жизни
этот тяжкий труд.
Нынче, знаю,
встанет мира пленум
на тобою
вызванном ветру!..
Над огромным,
— неподвижным краем
время —
лучшим
сердце утомлять...
Умираем?
Нет, не умираем,—
порохом
идем в тебя,
земля!

ЗВЕНИ, МОЛОДОСТЬ

Звени, звени, молодость,
сильная да злая,
жизнь твоя веселая,
полная до края.

Только помни, молодость,—
не без края весен,
станет свистом, холодом
свет непереносен.

Станут тучи серые
над тобой метаться,
станет ночи целые
думаться, не спаться.

Звени, звени, молодость,
свежая да злая,
имя свое легкое
хвастая и славя.

Только что тут выдумать,
если всё едино
видимо-невидимо
в голове сединок.

Губы мои любые,
вы уже не прежни:
вовсе стали грубые,
а бывали нежны.

Звени, звени, молодость,
быстрая да злая,
звездами да грозами
дополна пылая.

Видно, впрямь нездорово
конному опешить,
голову, как олово,
на ладони вешать.

Как ее ни вешаешь
низко на ладони,—
все равно не сделаешь
снова молодую.

Раззвенись же, молодость,
до глухого места,
помоги мне с осенью
сдуматься и спеться.



В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночью без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни.

На Курском вокзале — большие составы,
доплаты за скорость платить не могу.
А мне надоело стрелять у заставы,
на темном подъезде, на желтом снегу.

Уже декапод нажимает на рельсы,
уходит на юг, как и в прошлом году...
Смотри, беспризорник, вернее нацелься,
ныряй под вагон на неполном ходу.

Залягу жгутом в электрический ящик,
от саж и пыли, как кошка, рябой;
доеду — добуду краев настоящих,
где тихое море и теплый прибой.

Доеду — зароюсь в горячий песочек,
от жаркого солнца растает тоска;
доеду — добуду зеленую Сочу.
зеленую Сочу и Нову Аскань.

Нас пар не обварит и смерть не задушит,
бригада не выгонит из западни.
Мы здесь пропадаем за милую душу,
за милую душу, за синие дни.

1927



1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
«Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаеть другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей».

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
«Мне слова твои не по мерке
и не впору упрек твой лъстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?..
Люди больше меня тоскуют:
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на каменья,
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет!
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,

что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

7

Есть у многих рваные раны,
да своя болит на погоду;
есть на свете разные страны,
да от той, что узнал,— нет ходу.
Если все их смешаю в кучу,
то и то тебе не наскучу.

8

Оглянись на страну большую —
полоснет пестротой по глазу.
Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу,—
от ее голубого вала
и меня кипеть подмывало.

9

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом;
в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом;
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

10

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,

и на нем, клонясь малахаем,
выплывает дикий кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

11

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Керемети,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то сот за пять —
пробирается легкий лапоть.

12

Вот из дымного Дагестана,
избохась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чёчни,
ликом врезался в ветер встречный.

13

А еще — в глухом отдаленье,
где морская глыбь посинела,
тупотят копыта оленье
под луною окоченелой:
Медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга,—
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

Он лежит под стеною кремлевской,
невелик и негрозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчовой,
но до льдов, до снежного наста,
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
говорят о его могиле.

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!

Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

18

Знать, не даром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше, —
ты ее, пригорюнясь, слушай!»

1927



МОЕ СОЛНЦЕ

Солнце встало.
Я стою на взгорье.
Сосны сыплют
желтою иглой...
Человечье
призрачное горе
тенью в травы
от меня легло.
Люди —
ходят,
смотрят,
помнят имя;
что ж —
живи
да наживай жирок...
А попробуй
не поладить с ними?
Ветер в спину!
Свет везде широк!
И — куда ни гляну
и ни выйду,—
то не тень
полощет по листьям —
головою об землю
обида
бьется
и не может перестать!
И одно,
единственное в мире,
краше глаз родных
и слов чужих -

ты,
что встало раньше,
чем в четыре,
и пошло
светиться и дружить.
Напой меня
— живой водою,
утренней росой
освежи,
подорожником
да лебедою
раны и ушибы
обложи!
Стань скорее
надо мной в зените,
не оставив
тени на вершок!
Травы подо мной,
дружней звените,
как —
пока о вас я, —
хорошо!

СВЕТ МОЙ...

Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
в лед и в дрожь,
не замораживай
в лень и в ложь.
Чтобы — первый
сухой снежок
щеки моих не щекотал,
не жег;
чтобы — зимнее
марево
глаз не льдило,
не хмарило.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой.
Что ты, в самом деле,
с ума сошел?
Петь такие песни
нехорошо.
Петь такие песни
невыгодно, —
разве ж наши зимы
без выхода?
Если натереть бы
небо порошком, —
где б ходить тогда
по небу сполохам?

Если всё была бы
только выгода, —
где тогда искать бы
сердцу выхода?
Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
мое лицо
в лед, и в ложь,
и в лень, и в сон.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой!

1927

В пустой денек холодненький,
зажившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький»,—
оставшись мне чужой.
И это странно весело
и страшно хорошо —
касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстели
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне навеки
далекой и чужой!

1928

3

Слушай, Анни,
твое дыханье,
трепет рук,
и изгибы губ,
и волос твоих
колыханье
я, как давний сон,
берегу.
Эти лица,
и те,
и те,—
им
хоть сто,
хоть тысячу лет скости,—

не сравнивать с твоим
 в простоте,
в прямоте
 и в суровой детскости.
Можно
 астрой в глазах пестреться,
можно
 ветром в росе свистеть,
но в каких
 человеческих средствах
быть собой
 всегда и везде?!
Ты проходишь
 горя и беды,
как проходит игла
 сквозь тканьь...
Как выдерживаешь
 ты это?
Как слеза у тебя
 редка?!
Не в любовном
 пылу и тряске
я заметил
 крепость твою.
Я узнал,
 что ни пыль,
 ни дразги
к этой коже
 не пристают.
И когда
 я ломлю твои руки
и клоню
 твоей воли стан,

ты кричишь,
 как кричат во вьюге
лебедя,
 от стаи отстав...

1928

4

У меня
 хорошая жена,
У тебя
 отличные ребята.
Что ж велит мне
 мерить саженья
по пустыне
 сонного Арбата?
Никаких
 сомнений и надежд,
никакой
 романтики слезливой.
Сердце!
 Не вздувайся и не тешь
свежестью
 весеннего разлива.
Никаких
 мечтаний и иллюзий, —
что ни делай,
 как ни затанцуй,
как бильярдный шар
 к зеленой лузе,
ты летишь
 к провалу и концу!
Нет,
 не за тебя одну мне страшно, —

путь-дорога
у тебя своя;
с черной ночью
в схватке рукопашной
я не за тебя одну
стоял.
И не от тебя одной,
я знаю,
сечь
уже сжимает мне виски;
но в тебе
вся боль моя сквозная
отразилась
грубо,
по-мужски.
Боль
за всю за нашу
несвободу,
за нелегкость жизни,
ветхость стен,
что былого поколенья
одурь
жизнь заставит
простоять в хвосте.
О любви
теперь уже не пишут,
просто стыдно стало
повторять.
Но — смотри:
как страшно близко дышит
над Кремлем
московская заря.

День сегодня
 такой простой,
 каких не сыщешь
 и — в сто.
 Синь сегодня
 так далека,
 будто бы
 встал великан.
 Это ты,
 охлажденье мое,
 молча встаешь,
 не поешь,
 высветляя
 свое лезвиё,
 свой
 отпотевший нож.
 И от таких
 безразличных глаз —
 свет угасает
 враз.
 Всё затянулось
 и зажило,
 и мне —
 не тяжело.
 Всё заровнялось
 и заросло:
 не двигать ни рук,
 ни слов.
 Бульварный калека
 трясет головой
 (тоже —
 вопрос половой).

Нынче
такой бесприметный день,
что горько
 глядеть на людей.
Даже трамваи
 бегут от меня,
зло и протяжно
 звения.
Даже моторы —
 друзья для других —
фыркают,
 как враги...
Что же,
 лучше ли этот —
 тех
дней
 забот и помех,
дней волнений
 и дней тревог,
дней,
 когда стыть
 я не мог?
Дней,
 в которые,
 всё озаря,
злая
 вставала заря?
Дней,
 в которые
 в шумном ветру
шли
 влюбленность и труд?!

1928

Оставьте,
баптисты,
скучную
проповедь, —
вам
этих дней
все равно
не отпробовать.
Тот —
не уныл,
кто горечью
хвалится.
Радость
с луны
все равно
не свалится.
Молотом,
скальпелем,
клапаном,
книгою —
сердце
по каплям
волнение
двигает.
Сердце мое,
волнуйся
и стучай!
Жизнь —
не очень
понятная
штука.
Сердце мое,
тревожься
и рвись

вниз,
 в глубину,
и — вверх,
 ввысь!
Свет твой
 вечный —
с открытой
 душой —
первой
 встречной,
далекой,
 чужой
Шире
 и выше
взлета
 задор,
пока
 от вспышек
не сгинет
 мотор,
пока
 не сгаснет
горенья
 руда,
пока
 от сказки
не станет следа!

1928

Не будет стона сирого,
ни вопля, ни слезы;

идите, дни, боксировать
на рифм моих призы.

Бегите, физкультурники,
купать в ветрах лицо;
крутитесь, дни, на турнике
летучим колесом.

А ты, любовь, не высыпся,
не грянься комом вниз,
на вытянутых бицепсах
бодрее подтянись,—

Чтоб, зубом заскрежещенный,
унынья скрылся лик;
чтоб все на свете женщины,
как звезды, зацвели;

Чтоб каждый взял на выдержку
безмолвья сон дурной;
чтоб каждый пел навывтяжку
натянутой струной;

Чтоб шла навстречь весна ему
тревожно и свежо;
чтоб не было незнаемой
и не было чужой.

СУХОЙ ДОКЛАД
О ЖАЖДЕ СВЕТЛЫХ
РЕЧНЫХ ПРОХЛАД



В окно
 глядятся листики...
Пейзаж —
 как в беллетристике.
Покуда
 глазу видимо,
он жаром
 залит прочно,
как будто
 весь он выдуман
полистно
 и построчно.
Дрожит
 под солнцем
 знойный вид,
как автор
 в жажде славы,
и даже
 Кремль норовит
отдельно
 плавить главы.

Постой!
Хоть ты и урбанист,
но если —
 город душит,
напрягши мускулы,
 рваниць
из-под бетонной
 туши.
Асфальт,
 железо
 и стекло,
всё —
 липким потом истекло.
Из городского
 барахла
в речную зыбь
 и свежесть,
в раскат
 и лень
 речных прохлад
плечом и грудью
 врежусь;
под дёревянную
 бадью,
под
 синих брызг
 мониста...
А критик —
 пусть зовет
 судью
и судит
 урбаниста.

Мороз
 румянец выжег
 нам
 огневой.
 Бежим,
 бежим на лыжах
 мы
 от него!
 Второй,
 четвертый,
 пятый,—
 конц
 горе.
 Лети,
 лети,
 не падай.
 Скорей,
 скорей!
 Закован
 в холод воздух,—
 аж дрожь
 берет.
 В глазах
 сверкают звезды.
 Вперед,
 вперед!
 Вокруг
 седые ели.
 Скользи,
 нога.
 Как белые
 постели,

легли
 снега.
И тонкие
 березы —
лишь ог-
 ля-
 • нись —
затянуты
 в морозы,
поникли
 вниз...
На озере
 синеет
тяжелый
 лед.
Припустимте
 сильнее
вперед,
 вперед!
Легки следы
 от зайцев
и
от лисиц:
ты с ними
 состязайся —
несись,
 несись!
Чтоб —
 если ветер встречный
в лицо
 задул,—
склонился ты
 беспечно
на всем
 ходу.

На всем
разгоне бега —
быстр
и хитер, —
схватив
охапку снега,
лицо
натер.
Чтоб крикали
сороки
от тех
отваг,
чтоб месяц
круторогий
скользил
в ветвях.
Чтоб в дальних
или ближних
глухих
краях —
езде мелькала,
лыжник,
нога
твоя.
Чтоб все,
на лыжи вставши
в тугой
черед, —
от младших
и до старших —
неслись
вперед!

ДЕД



Травою зеленой одет,
лукавя прищуренным глазом,
охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,
и службу в Казенной палате,
он слушал в полях тишину,
которой за подвиги платят.

Сверкала его «лебедя»
на двести шагов без отказа,
и зверю из черного лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда выступал медвежатник
из мрака безмолвных деревьев.

И зимнею ночью он шел,
с волками на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по заимкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт,—
он жил между сивых и серых,
в оврагах лесов и пещерах,
прошедших времен следопыт.

И я, его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну,
всё вижу в нем Робина Гуда,

Зеленые волны хлебов,
ведущие с ветром беседу,
и первую в мире любовь
к герою, к охотнику — к деду.

1927

БАБКА



Бабка радостною была,
бабка радуюю цвела,
пирогамн да поговоркамн
знаменита и весела.

Хоть прописана в крепостях
и ценилась-то вся в пустяк,
но и в этой цене небольшой
красовалась живой душой.

Не знавала больших хором,
не училась писать пером,
не боялась ходить босой
по лугам, покрытым росой.

В тех лугах на ее на след
и набрел пересмешник дед.
Нашутил перед ней, рассмеял,
всеми росами насиял.

На колени пред ней упал,
из неволи ее выкупал.
И пошла она за него,
за курских глаз его синевой.

Так и жили они с тех пор,
губы в губы и взор во взор.
А поссориться доводилось —
ненадолго хватало ссор.

Бабка радостною была,
бабка иволгою плыла
по-над яблоневыми ветвями —
мастерица на все дела!

Отглядела на синий лен,
отшумела под белый клен.
До сих пор в нее — над рекою —
соловиный напев влюблен.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
кущих суток
ты звал меня
в свой дом.
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна,

и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую —
плакать теперь
не позорно.

От гроба
в страхе
не убегу:

реальный,
поэтусторонний,

я сберегу
их гул
В мозгу,

ЧТО ИМ
навек заронен.

«Мой дом теперь
... не там, на Лубянском,

и не в переулке
Гендриковом;

довольно
тревожиться
и улыбаться

и слыть
игроком
и ветреником.

Мой дом теперь —
далеко и близко,

подножная пыль
и зазвездная даль;

ты можешь
и все-таки — с ресницы его обрызгать
никогда не увидеть».

Сказал,
и — гул ли оркестра замолк
или губы —
чугун —
на замок.
Владимир Владимирович,
прости — не пойму,
от горя —
мышление туго.
Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.
Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.
И слышу:
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима.
«Слушай!
Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.
Утри глаза
и узнать сумеи
родные черты
моих семей.
Они везде,
где труд и учет,

куда б ни шагнул,
ни пошел ты.

Мой кровный тот —
чья воля течет

не в шлюз
лихорадки желтой.

Ко мне теперь
вся земля приближена,

я землю
держу за края.

И где б ни виднелась
рабья хижина,

она —
родная,
моя.

Я ночь бужу,
молчанье нарушив,

коверкая
стран слова;

я ей ору:
берись за оружие,

пора,
поднимайся,
вставай!

Переселясь
в просторы истории,

перешагнув
за жизни межу,

не славы забочусь
о выпренном вздоре я,—

дыханьем миллионов
дышу и грожу.

Я так свои глаза
расширил,

что их
даже облако
не заслонит,
чтоб чуяли
щелки, заплывшие в жире,
что зоркостью
я
знаменит.
Я слышу,—
с моих стихотворных орбит
крепчает
плечо твоё хрупкое:
ты в каждую мелочь
нашей борьбы
вглядись,
не забыв про крупное.
Пусть будет тебе
дорога одна —
где резкой ясности
истина,
что всем
пролетарским подошвам
родна
и неповторима
единственно.
Спешь на неё
и крепче держись
вплотную с теми,
чьё право на жизнь.
Еврей ли,
китаец ли,
негр ли,
русский ли,—
взглянув на него,
не бочись,
не лукавь.

Лишь там оправданье,
где прочные мускулы
в накрепко сжатых
в работе руках.
Если же ты,
Асеев Колька,
которого я
любил и жалел,
отступишь хоть эстолько,
хоть полстолько,
очутишься
в межпереходном жулье;
если попробуешь
умещаться,
жизни похлебку
кой-как дохлебав,
под мраморной задницею
мещанства,
на их
доходных в меру
хлебах;
если ослабнешь
хотя б немножко,
сдашь,
заюлишь,
отшатнешься назад,—
погибнешь;
свернувшись,
как мелкая мошка,
в моих —
рабочих
всесветных глазах.
Мне и за гробом
придется драться,
мне и из праха
придется крыть:

Бригада, в цепи!
На помощь, юность!
Дорогу
 ко мне
 моему потомку!
Что же касается
 до этого выстрела,—
молчу.
 Но молчаньем прошу об одном:
хочу,
 чтоб река революции
 выстирала
это единственное
 мое пятно.
Хочешь знать,
 как дошел до крайности?
Вся жизнь —
 в огневых атаках
 и спорах,—
долго ли
 на пол
 с размаху грянуться,
если под сердцем
 не пыль, а порох?
Пусть никто
 никогда
 мою смерть
(голос тише —
 уши грубей),
кто меня любит,
 пусть не смеет
брать ее...
 в образец себе.
Седей за меня,
 головенка русая,

на страхи былые
глазок не пяль
и помни:
поэзия — есть революция,
а не производство
искусственных пальм».
...Смотрю
на тучу пальто поношенных,
на сапогов
многое множество...
Нет!
Он не остался
один-одинешенек.
И тише
разлуки тревогой
тревожусь.
Небо,
которое нелюдимо,
вечер
в мелкую звезду оковал,
и две полосы
уходящего дыма,
как два
раскинутые рукава.

1930

ЛЕТНЕЕ ПИСЬМО

Напиши хоть раз ко мне
такое же большое
и такое ж

жаркое письмо,
чтоб оно
топорщилось листвою
и несло
по воздуху само.

Чтоб шумели
шелковые ветви,
словно губы,
спутавшись на «ты».

Чтоб сияла
марка на конверте
желтоглазым
зайцем золотым.

Чтоб кололись буквы,
точно иглы,
растопившись
в солнечном огне.

Чтобы синь,
которой мы достигли,
взоры
заволакивала мне.

Чтоб потом,
в нахмуренные хвой
точно

ночь вошла темным-темна...
Чтобы все нам
чувствовалось вдвое,
как вдвоем

гляделось из окна.

Чтоб до часа утра,
до шести нам,
голобу
откинув на руке,
пахло земляникой
и жасмином
в каждой
перечеркнутой строке.
У жасмина
запах свежей кожи,
земляникой
млеет леса страсть.
Чтоб и позже —
осенью погожей —
нам не разойтись,
не запропасть.
Только знаю:
так ты не напишешь...
Стоит мне
на месяц отойти —
по-другому
думаешь и дышишь,
о другом
ты думаешь пути.
И другие дни
тебе по нраву,
по-другому
смотришься в зрачки...
И письмо
про новую забаву
разорву я накрест,
на клочки.

РОМАН ПРОШЛОГО ГОДА

Под теплым весенним крутым дождем
стоит ваш дом.
Всех сладких весенних дождей вождем
молчит ваш дом.
Струится, бормочет и каплет с крыш
весна и тишь.
Мы с домом под ливнем—мокры, как мышь...
Струится с крыш.
Мы с ливнем вдвоем на крыльце твоём
о весне поём.
Со сладким весенним дождем вдвоем —
на крыльце твоём.

2

Ночь соблазнительна. Сами светят
синью своей небеса.
Как хорошо, что весна на свете!
Как это описать?
Только прислушайся, только приблизься,
как эти ветви сочны!..
Слышишь, как сами шевелятся листья
этих деревьев ночных?
Этих ветвей, еще тонких и слабых,
чуешь победную дрожь?
Как этот тонкий и радостный запах
в каждую голову вхож!..

Рука тяжелая, прохладная
 легла доверчиво на эту,
 как кисть большая виноградная,
 заолодевшая к рассвету.

Я знаю всю тебя по пальчикам,
 по прядке, где пробора грядка,
 и сколько в жизни было мальчиков,
 и как с теперешним несладко.

И часто за тебя мне боязно,
 что кто-нибудь еще и кроме
 такую тонкую у пояса
 тебя возьмет и переломит.

И ты пойдешь свой пыл раздаривать,
 и станут гаснуть окна дома,
 и станет повторенье старого
 тебе — до ужаса знакомо.

И ты пойдешь свой пыл растрачивать...
 Пока ж с весной не распрощаться,
 давай всерьез, по-настоящему,
 поговорим с тобой про счастье.

Помнишь: поезд, радостен и скор,
 скатывался с гор,
 темным лоском ливня остеклен,
 падал под уклон.

Машинист, должно быть, не жалел угля,
 разгонял стремглав.

Паровоз, должно быть, не жалел колес,
 нажимал всерьез.

Это было счастье. Счастьем зашатав,
 грохотал состав.

Этот грохот, этот запах смол
и сейчас не смолк. —
Он стоит, застыв на всех парах,
как туман в горах.

5

Губы, перетравленные ложью,
сложенной на тысячу ладов;
груди, перетроганные дрожью
рано наступивших холодов.

По одной-единственной примете,
как охотник птицу по перу,
помнишь, я предсказывал про эти
меркнувшие окна ввечеру.

Молодость твоя пройдет впустую,
никого путем не обожжет,
колесом впустую, вхолостую,
перекаати-полем пропадет.

Именно такая, не иная
всё она мне чудится кругом;
может, про нее я вспоминаю
чаще, чем о чем-нибудь другом.

Ты хотела спеться и сдружиться
и подушкой бросить на кровать,
что должно носиться и кружиться
и тревогой-ветром обдавать.

1933—1938

ГОРОДОК НА КАМЕ

...Спасибо тебе,
городок на Каме —
глубокий,
надежный советский тыл, —
что с нашею прозою
и стихами
ты нас не обидел
и приютил.

Остаток
забытого царства Булгарского,
без имени кличущий Каму —
«Река»,
ты в воду гляделся
темно и неласково
на то,
как проносятся мимо века.

Я помню,
как ты из-за мыса выступил,
впервые пред нами
открывшись вдали,
весь противореча названию
Чистополь, —
по горло в грязи
и по пояс в пыли.

Ты встретил нас
шипом своих сковородок,

солидным покачиваньем плотов,
на всех перекрестках,
на всех поворотах
учить нас
науке терпенья готов.

И первым ребячьим
забытым уроком
гусиных семейств
и лохматых дворняг —
был вывод,
что смысл
не в житье одиноком,
что жизнь
заклучается в сильных корнях;

Что грязи и пыли
не надо пугаться;
что почва
здесь так глубока и жирна, —
что в самой природе ее —
богатство,
обилье,
и пышность,
и сила зерна!

Здесь что ни посадишь —
растет и плодится,
чуть в землю —
обратно земля отдает;
здесь почва
сама заставляет трудиться
и чуть ли сама за себя
не поет!

На окнах
такие пылают герани,
такие наплывы
соцветий густых,
что, кажется, слышишь
желаний сгоранье
и новое возникновение их.

И здесь —
это вовсе не вычурный вымысел —
горит наше будущее на примусе...

Но если
в природе,
в растительном чуде,
здесь каждый обласкан
и стебель, и ствол,
то кажется —
в хмуром,
натруженном люде
еще ни единый росток
не процвел.

2

Слушай, друг,
оглянись вокруг,
присмотрись вокруг себя
попристальней —
к лицам толп
вокзалов и пристаней...

Видишь:
харкая и матерясь,

по тротуарам мечется
плохо одетое,
скверно обутое
мужественное человечество!

Оно,
сделавшее все эти вещи:
дома, сапоги, бутылки,
солдат, письмоносцев, старух,—
не хочет своей судьбы
выпускать из собственных рук;

Оно мечется, мучится, мочится,
мычит от горя и боли,
желая жить
по собственной воле...

Обвинить ли его за это!?
Нет, не в этом судьба поэта!
Поэт
должен быть со своим народом,
он должен быть близок
к его невзгодам.

3

Какая рань,
какая муть,
и грязь, и рвань,
и тьма, и жуты!
Остатки каких-то племен обветшалых,
кочующие на пристанях и вокзалах.

Какое ошметье,
какое отребье,

уж не разговор,
а ворчанье утробье,
и водочный дух,
и свист воровской,
и брань молодух —
вот вид городской;
и бельма ворочающий гадалщик,
вещающий
о временах преходящих...

Как жадно внимают
гаданью такому:
«Гадаю за деньги,
гадаю за хлеб!»

Как будто бы
более верят слепому
именно потому,
что он слеп.
И ночи тьма
стоит, тесна;
сводя с ума,
шумит весна.

И вдруг
эта тьма прорезается песней,
которая так без ошибки чиста,
как будто вся правда народа
в родне с ней,
всё,
чем отдаленные
дышат места.

По древнему городу
поздней порою,
как будто обнявшись за плечи,

идут
каких-то безвестных волшебников
трое
и сильную,
точную песню ведут!

И веришь,
что это
поспорит с дрянною,
угрюмой действительностью
дневною.
И это
не горькая корка слепого,
и это
не голый распухший живот,
а это
в душе гражданина любого
под сердцем невысказанное живет!

И город
на прочные гвозди подкован,
и городу
сильная правда ясна,
и нету на свете
народа такого,
которого б так
волновала весна!

Чистополь
1942

НАДЕЖДА

Насилье родит насилье
и ложь умножает ложь;
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож.

Но нож объявлять святыней
и, вглядываясь в лезвиё,
начать находить отныне
лишь в нем отраженье свое,—
нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!

Убийство зовет убийство,
но нечего утверждать,
что резаться и рубиться —
великая благодать.

У всех, увлеченных боем,
надежда горит в любом:
мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,
и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.

1943

ДВОЕ ИДУТ

Кружится, мчится Земшар
в зоне огня.
Возле меня бег пар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь начинается свой сказ
с азов.

Двое идут — шаг в шаг,
дух в дух;
трепет в сердцах, лепет в ушах
их двух.
Этот мальчонка был год назад
безус;
нынче глаза его жаром горят
безумств.
Эта девчурка играла вчера
с мячом;
нынче плечо ей равнять пора
с плечом.

Первый снежок, первый дружок —
двойник.
Как он взглянул — будто ожог
проник!
Снег, а вокруг них — соловьи,
перепела;
пальцы его в пальцы свои
переплела.

- Стелят не сумерки, а васильки
им путь,
и не снежинки, а мотыльки —
на грудь.
«Не зазнобила бы без привычки
ты рук!»
Их, согревая без рукавички,
сжал друг.
«Ну и тихоня, ну и чудила,
тем — люб!
Как бы с тобою не застудила
я губ!»

Кружится, вьется Земшар,
всё изменя.
Возле меня щек жар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь повторяет давний рассказ
с азов!

1950



СНЕГИРИ

Тихо-тихо сидят снегири на снегу
меж стеблей прошлогодней крапивы;
я тебе до конца описать не смогу,
как они и бедны и красивы!

Тихо-тихо клюют на крапиве зерно,—
без кормежки прожить не шутки!—
пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно,
да хоть что-нибудь будет в желудке.

Тихо-тихо сидят на снегу снегири —
на головках бобровые шапочки;
у самца на груди отражение зари,
скромно-серые перья на самочке.

Поскакали вприпрыжку один за другой
по своей подкрапивенской улице:
небо взмыло над ними высокой дугой,
снег последний поземкою курится.

И такая вокруг снегирей тишина,
так они никого не пугаются,
и так явен их поиск скупого зерна,
что понятно: весна надвигается!

1953



Если бы люди собрали и взвесили,
 словно громадные капли росы,
 чистую пользу от нашей профессии,
 в чашу одну поместив на весы,
 а на другую бы — все меднорожие
 статуи графов, князей, королей, —
 чудом бы чаша взвилась, как порожняя,
 нашу бы — вниз потянуло, к земле!
 И оправдалось бы выражение:
 «лица высокого положения»;
 и оценили бы подлинно вес
 нас, повелителей светлых словес!
 Что это значит — остаться в истории?
 Слава, как мел: губку смочишь — и стер ее;
 но не сотрется из памяти прочь
 «Страшная месть» и «Майская ночь»!
 Те, кто бичом и мечами прославились,
 в реку забвенья купаться отправились;
 тот же, кто нашей мечтой овладел,
 в памяти мира не охладел.

Кто был в Испании — помните, что ли, —
в веке семнадцатом на престоле?
Жившего в эти же сроки на свете
помнят и любят Сервантеса дети!
А почему же ребятам охота
помнить про рыцаря, про Дон Кихота?
Добр, справедлив он и великодушен —
именно этот товарищ нам нужен!
Что для поэта времени мера?
Были бы строки правдивы и веселы!
Помнят же люди слепого Гомера...
Полезьа большая от нашей профессии!

1954



Хочу я жизнь понять всерьез:
наклон колосьев и берез,
хочу почувствовать их вес
и что их тянет в синь небес,
чтобы строка была верна,
как возрождение зерна.

Хочу я жизнь понять всерьез:
разливы рек, раскаты гроз,
биение живых сердец —
необъясненный мир чудес,
где, словно корпус корабля,
безбрежно движется земля.

Гляжу на перелеты птиц,
на перемены ближних лиц,
когда их время жжет резцом,
когда невзгоды жмут кольцом...
Но в мире нет таких невзгод,
чтоб солнца задержать восход.

Не только зимних мыслей лед
меня остудит и затрет,
и, нет, не только чувства зной
повелевает в жизни мной, —
я вижу каждодневный ход
людских усилий и забот.

Кружат бесшумные станки,
звонят контрольные звонки,
и, ставши очередью в строй,
шахтеры движутся в забой,
под низким небом черных шахт
они не замедляют шаг.

Пойми их мысль, вступи в их быт,
стань их бессмертья следопыт!
Чтоб не как облако прошли
над ликом мчащейся земли,—
чтоб были вбиты их дела
медалью в дерево ствола.

Безмерен человеческий рост,
а труд наш — меж столетий мост...
Вступить в пролеты! Где слова,
чтоб не кружилась голова?
Склонись к орнаменту ковров,
склонись к доению коров,
чтоб каждая твоя строка
дала хоть каплю молока!

Как из станка выходит ткань,
как на алмаз ложится грань,
вложи, вложи в созвучья строк
бессмертный времени росток!
Тогда ничто, и даже смерть,
не помешает нам посметь!



Плотник сказал мне:

«Я буду работать —
просто убийственно!»

Он никого не хотел убивать.

Это обмолвка его боевая,
это великая,

неистребимая истина:

сталью сверкать,

добывая,

а не убивая!

2

Женщина вскапывает огород,

силу трудом измеряет.

Я к ней с приветом:

«Вот где работа — не лень!»

Слышу ответ:
«Кто не работает,
тот помйрает!..»
Звонкоголосый
осенний
синеющий день!..
Вот она, правда:
безделье смертельно.
Вот оно, слово:
бессмертье артельно.

3

У плотника
стружка вьется,
как русые кудри
у юноши.
Он сам, напевая,
смеется,
на всякие беды
плюнувши...
«Кто дерево
ладно тешет,
тот радостью
сердце тешит;
кто ловко
пилою правит,
тот память
о себе оставит».
Таков его говорок,
такое присловье.
Ступает за ним
на порог
сосновой смолы
здоровье!

Вот говорят:
 конец венчает дело!
 Но ведь и венец
 кончает тело?!
 Один венец —
 из золота литой,
 другой —
 в извивы лент перевитой;
 один венец —
 лавровый,
 другой —
 терновый.
 «Какой себе,
 подумай,
 заслужишь,
 человек?» —
 спросил худой,
 угрюмый,
 но сильный
 дровосек.

Каждый
 счастьем своему кузнец...
 Так ли это
 уж всегда бывает?
 Часто
 молота пудовый вес
 только искры счастья
 выбивает.
 «Вот гляди, —
 сказал кузнец, —
 сюда, —

охлаждая
 полосу в ведерке,—
счастья
 будто нету и следа,
а оно кипит,
 бурлит в восторге!.

А когда
 охладевает сталь,
мы опять
 искать его готовы,
нам опять
 былого счастья жаль,
как случайно
 найденной подковы!»

1955



Мозг извилист, как грецкий орех,
когда снята с него скорлупа;
с тростником пересохнувших рек
схожи кисти рук и стопа...

Мы росли, когда день наш возник,
когда волны взрывали песок;
мы взошли, как орех и тростник,
и гордились, что день наш высок.

Обнажи этот мозг, покажи,
что ты не был безмолвен и хром,
когда в мире сверкали ножи
и свирепствовал пушечный гром.

Докажи, что слова — не вода,
времена — не иссохший песок,
что высокая зрелость плода
в человеческий вместилась висок.

Чтобы голос остался твой цел,
пусть он станет отзывчивей всех,
чтобы ветер в костях твоих пел,
как в дыханье — тростник и орех.

ЕЩЕ ЗА ДЕНЬГИ
ЛЮДИ ДЕРЖАТСЯ

Еще за деньги
люди держатся,
как за кресты
держались люди
во времена
глухого Керженца,
но вечно
этого не будет.
Еще за властью
люди тянутся,
не зная меры
и цены ей,
но долго
это не останется —
настанут
времена иные.
Еще гоняются
за славою —
охотников до ней
несметно,—
стараясь
хоть бы тенью слабою
остаться на земле
посмертно.
Мне кажется,
что власть и почести —
вода соленая
морская;
чем дольше пить,
тем больше хочется,

а жажда
 всё не отпускает.
И личное твоё
— бессмертие
не в том,
 кто кто ты,
 как ты,
 где ты,
а — всех земных племен
 соцветие,
созвездие
 людей планеты!
С тех пор,
 как шар земной наш кружится,
сквозь вечность
 продолжая мчаться,
великое
 людей содружество
впервые
 стало намечаться.
Чтоб все —
 и белые,
 и черные,
и желтые
 земного братства —
вошли в широкие,
 просторные
края
 всеобщего богатства.

Вот опять
соловей
со своей
стародавнюю песнею...
Ей пора бы давно уж
на пенсию!

Да и сам соловей
инвалид...
Отчего же —
лишь осыплет руладами —
волоса
холодок шевелит
и становятся души
крылатыми?!

Песне тысячи лет,
а нова:
будто только что
полночью сложена;
от нее
и луна,
и трава,
и деревья
стоят замороженно.

Песне тысячи лет,
а жива:
с нею вольно
и радостно дышится;

В ней
почти человечески слова,
отпечатавшись в воздухе,
слышатся.

Те слова
о бессмертье страстей,
о блаженстве,
предельном страданию;
будто нет на земле новостей,
кроме тех,
что как мир стародавние.

Вот каков
этот старый певец,
заклинающий
звездною клятвою...
Песнь утихнет —
и страсти конец,
и сердца
разбиваются надвое!

1956

ПАМЯТНИК

Нанесли мы венков — ни пройти, ни проехать;
раскатали стихов долгозвучное эхо.

Удивлялись глазастости, гулкости баса;
называли певцом победившего класса...

А тому Новодевичий вид не по нраву:
не ему посвящал он стихов своих славу.

Не по нраву ему за оградой жилище,
и прошла его тень сквозь ограду кладбища.

Разве сердце, гремевшее быстро и бурно,
успокоила б эта безмолвная урна?

Разве плечи такого тугого размаха
уместились бы в этом вместилище праха?

И тогда он своими большими руками
сам на площади этой стал наращивать камень!

Камень вздыбился, вырос огромной скалою
и прорезался прочной лицевою скулою.

Две ноги — две колонны могучего торса;
головой непреклонной в стратосферу уперся.

И пошел он, шагая по белому свету,
проводить на земле революцию эту:

Чтобы всюду — на месте помоек и свалок —
разнеслось бы дыхание пармских фиалок;

Где жестянки и щебень, тряпье и отбросы,
распылалось бы влажно индийские розы;

Чтоб настала пора человеческой сказки,
чтобы всем бы хватало одеяла и ласки;

Чтобы каждый был доброй судьбою отмечен,
чтобы мир этот дьявольский стал человечен!

1956



Что такое счастье? Соучастье
в добрых человеческих делах,
в жарком вздохе разделенной страсти,
в жарком хлебе, собранном в полях.

Да, но разве только в этом счастье?
А для нас, детей своей поры,
овладевших над природой властью,
разве не в полетах сквозь миры?!

Безо всякой платы и доплаты,
солнц толпа, взвивайся и свети,
открывайтесь, звездные палаты,
простирайтесь, млечные пути!

Отменяя летоисчисленье,
чтобы счастье с горем не смешать,
преодолевая смерть и тленье,
станем вечной свежестью дышать.

Воротясь обратно из зазвездья
и в слезах целуя землю-мать,
мы начнем последние известья
из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье по плечу нам —
мыслью осветить пространства те,
чтобы мир предстал живым и юным,
а не страшным мраком в пустоте,

ПЕСНЬ О ГАРСИА ЛОРКЕ



Почему ж ты, Испания,
 в небо смотрела,
когда Гарсиа Лорку
 увели для расстрела?
Андалузия знала,
 и Валенсия знала,—
что ж земля
 под ногами убийц не стонала?!
Что ж вы руки скрестили
 и губы вы сжали,
когда песню родную
 на смерть провожали?!
Увели не к стене его,
 не на площадь,—
увели, обманув,
 к апельсиновой роще.
Шел он гордо,
 срывая в пути апельсины
и бросая с размаху
 в пруды и трясины;

те плоды
 под луною
 в воде золотели
и на дно не спускались,
 и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал
 и кидал он планеты,—
так всегда перед смертью
 поступают поэты.
Но пруды высыхали,
 и плоды увядали,
и следы от походки его
 пропадали.
А жандармы сидели,
 лимонад попивая
и слова его песен
 про себя напевая.

1956—1958

ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ



Был ведь свод небес голубой?
Бил ведь в скалы морской прибой?..
Будь доволен своей судьбой —
оставайся самым собой.

Помнишь, вился дым над трубой?
Воркотню голубей над избой?
Подоконник с витой резьбой?..
Будь доволен своей судьбой.

Лес был весь от солнца рябой,
шли ребята веселой гурьбой —
лезть на сучья, на птичий разбой,
пересвистываясь меж собой.

Ведал вкус не душой губой,
не дул в ус пред душой судьбой,
не сходил с дружбой, любой —
оставался самым собой.

Мята, кашка и зверобой
пахли сладко перед косьбой,
гром гремел нестрашной пальбой,
словно сказочный Громобой.

Не хвались удач похвальбой,
не кичись по жизни гульбой,
не тревожь никого мольбой —
оставайся самим собой.

Если сердце бьет вперевой,
если боль вздымает дыбой, —
не меняйся ни с кем судьбой —
оставайся самим собой!

1958

НИКЕМ НЕ СЛЫШИМЫЙ СТУК СЕРДЕЦ

День за днем,
 недели за неделями
мчатся вихрем,
 как на состязанье;
словно бы
 в стальное время сели мы
и летим
 с открытыми глазами,
Через нас
 такая быль проносится —
звон в ушах,
 и сердце втрое бьется,
словно
 вон из ребер
 прыгнуть просится,
это
 лишь ему и остается!
Если ж сердце
 удержать стараются,
бьет оно тревогу
 вкось и криво!..
Очень часто
 сердце
 разрывается,
только
 гул не слышен
 от разрыва.

1959

СЕМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО

Я проснулся сегодня радостный,
огляделся счастливым взглядом:
радость бьется в душе — нету сладу с ней, —
ведь она со мной здесь, рядом!

Добролюбая, светлоплечая,
затененная дымкою сна —
и сказать о ней больше нечего:
нестареющая весна!

Небо дымит грозами,
в жаркий июль одето;
пахнет сосной и розами
семидесятое лето.

Вы, кому только двадцатое,
кто лишь вступает в стремя,
я не завидую и не досаую:
всякому свое время.

Время мое величавое,
время мое молодое,
павшее светом и славой
в обе мои ладони.

Вам, кому времени вашего —
новые долгие годы,
вам расцветать, выколашивать
наших посевов всходы.

1959

РЕШЕНИЕ

Я твердо знаю: умереть не страшно!
Ну что ж — упал, замолк и охладел.
Была бы только жизнь твоя украшена
сиянием каких-то добрых дел.

Лишь доживи до этого спокойства
и стань доволен долей небольшой —
чтобы и ум, и плоть твоя, и кости
пришли навек в согласие с душой;

Чтобы тебя не вялость, не усталость
к последнему порогу привели
и чтобы после от тебя осталась
не только горсть ископанной земли.

И это непреложное решение,
что с каждым часом глубже и ясней,
я оставляю людям в утешенье.
Хорошим людям. Лучшим людям дней!

1959

Зачем вы не любите, люди,
своих неподкупных поэтов?
Взывая к векам о бессудье,
глядят они грустно с портретов.

Одни на дуэли убиты,
другие, не сладив с судьбою,
от сердца смертельной обиды
покончили сами с собою.

Не верят созданий их пользе,
осмеивают и ругают,
пока они живы,
а после —
им памятники воздвигают.

Верните их к жизни скорее!
Пусть вышли из моды костюмы,
пусть выцвели снимки, серея,
но живы их мысли и думы.

Зачем вы не любите, люди?!
Зачем вы их губите, люди?!
Но нет на вопросы ответов,
глядят они грустно с портретов.

1952—1960

ЗВЕРИНЕЦ ЯРОСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Лев был безмерно удивлен,
столкнувшись с укротительницей,
перед которой, вставши, он
старался в струнку вытянуться.

Поноску нес, как пес, за ней
под властью взгляда женского
и львиной долею своей
гордился и блаженствовал.

Бичом язва ему бока,
так, что зубами взляскивал,
она была то жестока,
то безраздельно ласкова.

А было иначе нельзя,
его ж природа дикая:
рванется, когти в плоть вонзя,
и прочь уйдет, мурлыкая!

Так защищалась и она
по-женскому, по-своему;
была судьба им стать дана
мучительства героями.

Зверинец яростных людей!
Пустыня раскаленная!
Читатель, в ужасе седей:
вот правда не салонная.

28 октября 1960



1

Среди зеленой тишины
нахлынувшего лета
не все вопросы решены,
не все даны ответы...

Но ясен мне один ответ,
без всяческой подсказки,
что лучше в целом мире нет
той, кто пришла из сказки;

Чьи неподкупные глаза
в лицо беды смотрели,
то голубея, как гроза,
то холодней метели.

Мне скажут: вот, опять про то ж!
Знакомая затея,

что лучше той и не найдешь,
кто зорьки золотее!

О вы, привыкшие к словам —
казенным заявлениям,
всё это сказано не вам,
а младшим поколениям!

2

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
мне и в жары без тебя — стыть,
мне без тебя и Москва — глушь.

Мне без тебя каждый час — с год,
если бы время мельчить, дробя;
мне даже синий небесный свод
кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать —
слабость друзей, силу врагов;
я ничего не хочу ждать,
кроме твоих драгоценных шагов.

3

Что же — привык я к тебе, что ль?
Но ведь, привыкнув, не замечают.
Всё превращает любовь в боль,
если глаза равнодушно встречают.

А на тебя я — и рассержусь,
не соглашаешься — разругаюсь,
только сейчас же на сердце грусть,
точно на собственное не полагаюсь;

Точно мне нужно второе, твое,
если мое заколотится шибко;
точно одно у них вместе жилье,
вместе и горечь, и вздох, и улыбка.

Нет, я к тебе не привык, не привык,
вижу и знаю, а — не привыкаю.
Может, действительно ты — мой двойник,
может, его я в стихи облакаю!

1960

ЗЕРНО СЛОВ



От скольких людей я завишу:
от тех, кто посеял зерно,
от тех, кто чинил мою крышу,
кто вставил мне стекла в окно:

Кто сшил и скроил мне одежду,
кто прочно стачал сапоги,
кто в сердце вселил мне надежду,
что нас не осият враги;

Кто ввел ко мне в комнату провод,
снабдил меня свежей водой,
кто молвил мне доброе слово,
когда еще был молодой.

О, как я от множеств зависим
призывов, сигналов, звонков,
доставки газеты и писем,
рабочих у сотен станков;

От слесаря, от монтера,
их силы, их речи родной,
от лучшего в мире мотора,
что движется в клетке грудной.

А что я собой представляю?
Не сею, не жну, не пашу —
по улицам праздно гуляю
да разве стихи напишу...

Но доброе зреет зерно в них
тяжелою красотой —
не чертополох, не терновник,
не дикий осот густой.

Нагреется калорифер,
осветится кабинет,
и жаром наполнятся рифмы,
и звуком становится свет.

А ты средь обычного шума
большой суеты мировой
к стихам присмотришься и подумай,
реши: «Это стоит того!»

В КОНЦЕ КОНЦОВ

(на мотив Р. Бериса)

В конце концов всё дело в том,
что мы — как все до нас — умрем...
Тим-там, тим-том!

Матрос пьет ром, больной пьет бром,
но каждый думает о том;
ведь вот ведь дело в чем!

Один умрет, построив дом,
другой — в чужом углу сыром...
Тим-тим, там-том, тим-том!

Один был прям, другой был хром,
красавец — тот, а этот — гном;
ведь вот ведь дело в чем!

Один имел прекрасный слог,
другой двух слов связать не мог,
в грамматике был плох.

Один умолк под общий плач,
другого доконал палач:
уж очень был горяч.

А любопытно, черт возьми,
что будет после нас с людьми,
что станется потом?

Какие платья будут шить,
кому в ладоши будут бить?
Тим-там, тим-там, тим-том!

Открыть бы хоть один бы глаз,
взглянуть бы хоть единый раз:
что будет после нас?!

Но это знать — напрасный труд,
пустого любопытства зуд;
ведь вот ведь дело в чем!

Все семь всемирных мудрецов
не скажут, что в конце концов...
Тим-тим, тим-тим, тим-том!

1956—1961



*Как по Питерской,
по Тверской-Ямской...*

Старинная песня

Как по улице
по московской,
еще веющей
старинной,
шел — вышагивал
Маяковский,
этот самый.
Никто иной!
Эти скулы,
и брови эти,
и плеча
крутой разворот,—
нет других таких
на планете:
измельчал что-то
весь народ.

Взглядом издали
 отмечаясь
посреди
 текущей толпы,
отмечаясь
 и отличаясь,
как горошина
 от крупы,
шел он буднями,
 серым зимними,
через юношеские
 года,
через площадь
 своего имени —
Триумфальную
 еще тогда.
Шел меж зданий
 холодных каменных,
равнодушных
 к его судьбе;
шел
 живой человеческий памятник,
непреклонный
 в труде — в борьбе.
Шел добыть
 на обед монету —
не для жизненных
 пустяков,—
шел прославить
 свою планету
громовым
 раскатом стихов.
С толстомясыми
 каши не сваришь;

а худой
худому сродни:
сразу видно —
идет товарищ!..
Так мы встретились
в эти дни...
Вот идет он,
мой друг сердечный,
оттолкнув
ногой пьедестал,—
неизменный
и бесконечный,
тот,
кто бронзовым
так и не стал.

1962—1963



ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

(фрагмент из поэмы)



Нет,
ты мне совсем не дорогая!
Милые
такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
зубы сжав,
их молча забывают.
Ты глядишь —
меня не понимая,
слушаешь —
словам моим не веря,
даже в этой дикой сини мая
видя жизнь
как смену киносерий.
Целый день лукавя и фальшивя,
грустные выдумывая штуки,
вдруг —
взметнешь ресницами большими,

вдруг —

сведешь в стыде и страхе руки.
Если я такой тебя забуду,
если зубом прокушу я память —
никогда

к сиреневому гуду
не идти сырыми мне тропами.
«Я люблю, когда темнеет рано!» —
скажешь ты

и станешь как сквозная,
и на мертвой зелени экрана
только я тебя и распознаю.
И, веселье призраком пугая,
про тебя скажу,
смеясь с другими:

«Эта —

мне совсем не дорогая!
Милые
бывают не такими».

СЕМЕН ПРОСКАКОВ

Стихотворные примечания к материалам
по истории гражданской войны

ДВЕ ЭПИТАФИИ

1917 года, при свержении Николки Романова, я, Проскаков Семен Ильич, работал на Ленинском руднике, а всего проработал по разным рудникам Сибири 17 лет. И вот 1917 года я вступил в добровольную Красную гвардию и в партию большевиков. И тут же эта партия повела борьбу против эсеров, против учредилки, и наши советы начали работать, вести в полном смысле и организовывать партию большевиков и повели борьбу с эсерами и с другими партиями за советскую власть, а когда организовали Красную гвардию, то она работала под руками советов и выполняла все распоряжения советов.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

В тысячах
 повторенный
 имен,
из-под глухого
 земного покрова
я, партизан
 Проскаков Семен,
жить начинаю
 снова и снова...
Я проработал
 семнадцать лет

на рудниках
и на шахтах Сибири...
Болью резал
глаза мои
свет;
ночь почивала
на мне
и на мире.
В сумерках шахты,
оледенев,
переходя
от забоя к забою,
с черной породой
наедине,
молча
я путь пробивал пред собою.
Этот упорный
и грозный труд,
скреп и подпорок
ломаемых
рокот,
грохот
обваливающихся груд
слышен в моих
неприкрашенных строках.
В год,
когда первому
ясному дню
было дано
надо мною зардеться,
бросил я дом,
жену
и родню
и записался
в красногвардейцы.

Я пролетел,
 просквозил,
 проскакал
сквозь пули
 японцев
 и чехословаков,
прям и упорен,
 как эта строка,
черен
 от угольной пыли
 и шлака.
Я, рабочий,
 шахтер,
 большевик,
сумрачному
 и охладелому
сердцу республики
 молвил: живи,
бейся
 и делай великое дело!
Кто остановит
 меня на пути?
Мертвый,
 я раны свои протираю
к дальнему свету,
 к новому краю,
всё пережив
 и всё победив!

II

- Вы адмирал Колчак?
— Да, я адмирал Колчак.

.

Во время моего первого плавания... я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время... У меня была мечта найти Южный полюс, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

«Допрос Колчака», Центрархив, ГИЗ, 1925

Я,
отраженный
в сибирских ночах
трепетом
тысячей звезд
партизаньих.
Я,
адмирал Александр Колчак,
проклятый в песнях,
забытый в сказаньях.
Я,
погубивший мечту свою,
спутавший ветры
в звездном посеве,
плыть захотевший
на юг
и на юг
и отнесенный
далеко
на север.
Я
предупреждаю других,
жаждущих славы
и льнущих ко власти:
уже
и уже
сходились круги

темных моих

человеческих странствий.

Плыть бы и плыть мне

к седой земле,

бредящей

именем адмирала,

так —

чтобы сердце,

на миг замлев,

хлынувшей радостью

обмирало.

Но —

не иная земля

у плеча

и не акулье скольжение

у шлюзов,—

путь мой

искривлен

рукой англичан,

бег мой

направлен

рукою французов.

И

не на штиля

немой бирюзе

встали миражами

жизни виденья,—

кто-то

мне путь и судьбу

пересек

темной,

суровой,

взлохмаченной тенью.

Я,

изменивший стихии родной,

вышедший биться
на сухопутье,
пущен
болотам сибирским
на дно,
путами тропок таежных
опутан.
Я,
никаких не открывший стран,
вижу теперь
из могильного мрака:
жгучею болью
бесчисленных ран
путь заградил мне —
Семен Проскаков.
Против народа
безмерностью пагуб
оборотившему
острие,
если б мне
снова,
сломав свою шпагу,
в Черное море
бросить ее!

ЧЕРНЫЙ АТАМАН

Соратники его знают как человека, не курившего и не потреблявшего спиртных напитков, но много уничтожавшего конфет. Он не имел друзей, чуждался и женщин — он холост. Любил покататься на автомобиле, любил задавить кошку, собаку, курицу, барана. Хотелось задавить какого-нибудь киргизенка.

*«10 лет контрреволюции», очерк следователя
по важнейшим делам Верховного Совета
Д. И. Матрона*

Не кончились
 эти дни,
не кончены
 эти дни
горячечной
 ломки и стройки.
Глаза мои
 ледяни,
слова мои
 ледяни,
ревущий ветер
 героики!
Чтоб
 не теплых цыпят
под строкой
 высиживать,—
чтоб
 пилою цеплять
выродка
 бесстыжего.
Что такое —
 хулиган?
Нож
 сажая,—
жизнь ему
 недорога —
своя,
 чужая.
Еще ходят
 по Москве,
в Харькове,
 Киеве;

он и жулик
и аскет —
есть такие.
С ним
руками пустыми
не цапайся;
он —
не с нами,
не с ними,
он —
сам по себе.
Он кривит
усмешкой рот,
злой —
и узкий;
он бахвалится
и врет:
«Я, мол, —
русский.
Я остануся
таким
век
до гроба.
Все вы —
рвань,
дураки.
Я —
особый!
Я
об стену
в дому
развалю
башку,
лишь бы жить
моему
самолюбьишку.

Вздну чуни
да кожух —
нет препятствий;
всему свету
докажу:
брось трепаться!
Кой там черт —
социализм?!
Все —

евреи!
Лучше
богу помолись
поскорее:
без икон,
без лампад
мы забыли
о нем...»
Смотришь:
желтый лампас
загорелся
огнем.
Смотришь:
щурит бешено
глазки
узкие...
Сколько им
повешено?!
И все —
русские!

2

Не буяна
пьяненького,
на карачках
лезущего, —

мы судим
 Анненкова,
округа
 вырезывавшего.
Может,
 жил бы тихо,
фарту б
 дождался,
если бы
 не вихорь
войны
 гражданской,
если бы не бури
 широкая сила
пену от влаги
 не относила.
Вот он
 сидит —
«потомок»
 декабриста.
В глазах
 у судьи
тайга
 серебрится.
Забелели
 берега
белые
 Байкаловы;
ночь темна
 и велика,
хоть глаза
 выкалывай!..
С ним —
 его вояки,
страшные приспешники;

люди
или раки,
руки
или клешни?
На портретах
Брюллова
такие лица;
рот
у тонкоскулого
шевелится.
Губы —
тоньше ниточки, —
страх
на врагов;
генеральской
выточкой
светит
погон.
Чуб
из-под околыша
падает
на лоб;
по степи
такого же
нес его
галоп.
Поскрипывали
ремни
у седел
тугих...
Алые
деревни
среди
белой тайги.
Времени
не тратили

белые
 каратели:
«Разбегайтесь
 по домам,
...с вами —
 нянькаться!
С нами
 бог и атаман,
мы —
 анненковцы.
Нечего медлить,
 некогда мешкать:
если младенец —
 на штык да об печку;
если взрослые —
 встань в затылок,
не таскать же
 мертвых до ям;
так,
 чтобы заживо
 кровь застыла,
рассчитайсь
 у могил по краям!
Баб и девок
 лови по гуменьям,
эти смолкнут —
 другими замёним».
Не расскажут
 про все их палачества
те деревни,
 что выжжены
 начисто;
позапомнило их
 Семиречьице —

до сих пор
 темнотою
 мерещатся.
Вот он
 сидит —
«потомок»
 декабриста.
В глазах
 у судьи
тайга
 серебрится.
Как
 заученных
слов
 ни цеди —
трупы
 замученных
в глазах
 у судьи.
Если б были они мне
 братья,
эти люди-звери,
я стрелял бы в них,
 слов не трата
и словам
 не веря!

ПАРТИЗАНЫ

Приехав в деревню Тележину, там уже нас встретили неприятельской пулей. Тут нам пришлось задержаться на трое суток, и у нас вышли патроны, и нам стало воевать нечем. Тут издал приказ наш командир, чтобы кто как мог, так и спасался от белой сволочи. Здесь мое первое страдание при отступлении, нас искали везде и всюду, и я попал на

займку Елиновку, влез на высокую гору и там спасался пятеро суток, а хлеба ни крошки нет. В пятые сутки я встретился с одним мадьяром отряда нашего, и мы решили пойти скитаться вместе по незнакомой глухой тайге, и отправились по долинам гор, днем лежим, запрячемся, а ночью идем. И до чего же дошло это страдание, что у нас с почв наших ног были раны до костей. Ведь подумаешь это страдание и встретивши его, то все-таки становится тебе жутко.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Второе

I

Можно написать!

«...Тропка вела
не то на небеса,
не то на елань».

Мы ж хотим —

без выдумок,

что жизнь нам

дала,

рассказать

о видимых

людях

и делах.

Чтоб,

к правде лицом,

пути не терял

сух

и весом —

наш материал,

чтоб

не теплых цыплят

холить нежненько,
чтоб

ноге не цеплять
по валежнику.

Ти-

ше,

ти-

ше,

ти-

ши-

на.

Спи, дитя,

и спи, жена.

Не шуми,

луга,

не дрожи,

осинник!

Нет

у

ми-

ло-

го

черных,

серых,

синих.

Мердай,

звезд

круг,

темноту

цара-

пай.

Сердца

стук,

стук:

отдохнуть

пора бы.

Настоящими
топкими тропами
шел отряд партизанов
потрепанный.
Не герои-орлы
бессменные,—

шли
рабочие люди семейные.

Шли
без регалий,
шли

без патронов,

шли
и ругались,
хвою затронув.

Шли
по весенней хрусткой капели,
шли
и, вроде вот этого,
пели:

«Что ты невеселый,
наш товарищ командир?!

Скоро ль наши села
завиднеют впереди?

Шагу не наступишь:
натрудилась нога.

Ты ли нас погубишь,
распроклятая тайга?»

Отвечал печально

наш товарищ командир:
«Я вам

не начальник,—
кто куда хотишь, иди.
Много троп

наслежено,
да кончены пути;

вот она —
Тележина,
да к ней не подойти.
Стоит вам
 послушать,
бойцы,
 мои слова:
нечего нам кушать
и нечем воевать.
Сосны
 еле шепчутся.
обстигла
 нас беда.
Обнимемся покрепче,
разойдемся,
 кто куда». .
Мы тебе ответили,
товарищ командир,—
встретиться
 на свете
суждено нам
 впереди!
Слушайся приказу,
голодная братва,
расходись не сразу —
по одному, по два.
Тихий шорох,
 раскатись
по тревожной ночке,
расходись,
 расходись
в темь
 поодиночке.
Разровняй, трава,
 наш след
по зеленой улице.

Ночью были —
 утром нет,
лишь туманы курятся...

2

Горемычно
 одному в лесу,
тьма ведет
 суконкой по лицу:
хоть и вспомнишь
 после —
 это ветвь,
на минуту
 сердцу —
 помертветь.

- Одиноко
 ночью без костра,
мягкой лапой
 выступает страх,
подползает
 оползнем когтей,
начинает
 тысячу затей,
То ли
 шум
 несется от реки,
то ли
 сумрак
 нижут светляки,
и другие
 сорок сороков
поднимают
 шорох широко.

Горемычно
 . в сумрачном лесу...
Звезды тлеют
 неба на весу.
И идет толпа
 ветров тугих
по деревьям
 вздыбленной тайги.
Горемычно
 одному в лесу...
Солнце,
 встань
 и высуши росу,
принеси
 из сонного села
дым еды
 и заглушенный лай!
Стой, ночь!
 Мне с тобою страшно
наедине —
ты такой
 тишиной окрашена,
оледенев,
ты такой
 тишины ответчица,
вплоть до могил...
Если сердце
 со страху мечется,
ты — помоги!
Видишь:
 спавший
 с камнями ветхими
береговой —
вновь
 заводит
 с верхними ветками

переговор.
Звякни, звякни
звездой хоть изредка
и урони,
от безлюдья
страшного призрака
оборони...

Проскаков
мимо заимок.
Гнус бросался
в глаза ему,
гнусь лесная
да мошкара;
вместо хлеба —
еловая кора.
Ноги нагие
разбиты в кость.
Всюду враги,
напрямик и вкось.
По всей
по Сибири,
вблизи и далеко,
порки,
пожары
и паника;
справа Семенов,
сзади Калмыков,
слева
и спереди
Анненков.
Черные гусары,
синие уланы,
желтые лампасы
уссурийские —

в криках,
да в свистах,
да в шашек пыланье
всюду мелькают
и рыскают...
А в тайге,
заедены гнусом,
партизаньи головы
гнутся.
Эй, Семен,
бросай,
перестань-ка,
выходи
из дебри
с повинной!
Вот они —
огни полустанка,
теплые хлева
да овины.
Нет, не брошу,
не перестану,
не скули,
шахтерское сердце!
Оползи
кругом полустанок,
погляди
на то офицерство.
Тишь — темна;
бурелом не треснет;
ляг-и слушай,
дух захолонув,
разговор,
бормотню
и песни
из открытых
окон салонов:

и ни дьяволу
 кочерга.
...Предлагаю:
 в банке сорок!
Ваня, уйдем,
 начинается ссора.
...Сла-а-авен
 выпивкой
 и пляской
чудный полк
 Ингерманландский!
— В ночь,
 когда стали
 все кошки серы,
в дикую ночь
 над несчастной страной
вы записались,
 я знаю,
 в эсеры,
вы к офицерству
 стали спиной!
Но,
 большевизию
 быстро покинув,
пальцы от злости
 грызя,
вновь повернули
 гибкую спину
к вашим
 вшивым друзьям!
Что ж,
 вас опять потянуло к онуче?
Тьму
 пожаром усадеб
 просветлять?..

Только
здесь
вам не место канючить,
демократическая тля!
— Это оскорбление,
за это ответишь!
...Румяной зарею
покрылся восток.
— Полно,
всё условно на свете!
...В банке
четыре тысячи сто.
— Впрочем,
если вам нужен воздух,
выйдем
поговорить
при звездах!
И если то,
что на вас —
мундир,
можно прибавить
несколько дыр!..»
Отползай, Проскаков,
отползай:
выстрел
пламенем тебе в глаза;
на тебя,
приникшего в траве,
валится
убитый человек.
Снова тишь,
и в салон-вагонах
снова крики,
песни
и говор:

«...Вот последняя
сводка реляций:
двое непримиримых врагов —
хорунжий с поручиком —
вышли
стреляться.

Один — наповал
на двадцать шагов,
— Это уж хуже.
...Вот он — хорунжий!
— Что случилось?

...Идите сюда!
— Всё в порядке,
прошу, господа.

Ставлю
дюжину свежих бутылок.
Адъютантские шпоры
слишком звенят:
красный шпион
застрелен в затылок,
так как шел
впереди

меня!..»
Отползай, Проскаков,
отползай!

Зыбкий сумрак
от рассвета сер.

Не успел
подсумка отвязать
стрелянный
в затылок

офицер.
Хороши

для раненой ноги
мягкого опойка
сапоги;

хорошо,
 свернувшись тихо,
 лечь,
на плечи напялив
 плотный френч.
Лес,
 гори
 разливами зари,
не до дремы тут,
 не до снанья:
сухари в подсумке,
 сухари!
И горячий
 смоляной
 коньяк!

ПОЕЗДА

Пробившись в Кузнецкий уезд, начали со знакомыми крестьянами подпольную работу, и тут опять работать было рискованно, несмотря на карательные отряды, а работы продолжались против Колчака, но и слышав про действия карательных, как они расправлялись с товарищами, а также семьями партизан, например, каратели издевались над моей семьей, а именно, над моей женой Татьяной Ефимовной Проскаковой, испороли ее в лоскутья и выстегнув ей глаз, которая в последнее время осталась с половиной свету... И тут уж пошли такие дела, что, начиная переносить порки и разные наказания, то те люди уже, бросая все и организуясь, шли в отряд партизан. И вот эта-то основная причина партизан, как уже выше указано.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих.

Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем.
Бронированы
вагоны,
шитые
погоны.
...Тяжело,
тяжело
брать на гору
эшелон.
Хорошо,
хорошо б
растереть их
в порошок.
Хорошо бы
вкривь
и вкось
кувыркаться
под откос,
да зарубки
на колесах
не пускают
с двух полосок.
Вдаль, вдаль,
вдаль, вдаль
протянули шпалы
сталь.
Три зеркальных
фонаря

не устанут
 в темь нырять.
Иад ползущую
 совой —
с пулеметом
 часовой.
Паровоз
 идёт по рельсам
черным
 погорельцем...
А кругом
 кедровая
грозная
 тайга,
будто
 и не трогая,
смотрит
 на врага.
Если подвести
 под рельсы штангу,
поезд не дотянется
 к полустанку;
вагонов стручки,
 перед тем
 как сплющиться,
друг на дружку
 вздыбятся
 и взлущатся;
паровоз,
 перевертываясь,
 медленный
 и важный, .
уляжется на бок;
 как скот домашний;
и паром
 от взорванного котла.

окутает
 сосен зеленые плечи;
 и будут вагоны
 гореть дотла,
 и будет хрипеть,
 надрываясь,
 диспетчер:
 «...Поезд № 8...
 воинский... бис,
 согласно графику,
 вышел из...»
 И снова —
 ночные
 диспетчера хрипы:
 «№ 8...
 еще...
 не прибыл».

2

Сколько
 этих поездов:
 двести
 или сто?
 Всем
 дорога им узка,
 все
 идут в тисках.
 Чуя
 красную беду,
 много дней
 подряд
 паровозы их
 гудут,
 буксы их
 горят;

машинисты их
 бледны,
скулы их
 остры,
и уже
 вблизи видны
партизан
 костры...
Станция Зима.
 Чешский комендант Воня.
Спрыгнул военком --
 принимай коня!
Прям, суров и строг:
 «Выдать Колчака!»
Дымом от костров
 пропитана щека.
«Нас не то что горсть —
 знаете поди,—
мы на триста верст
 разберем пути».
Чех прищурил глаз,—
 в этом есть расчет,
в этом есть соблазн:
 кровь не потечет.
Сердце к миру склонно,
 хоть душа храбра,
в чешских эшелонах
 мало ли добра?!
Чех задумчив шибко,
 чех глядит в окно;
...швейные машинки,
 сахар и сукно.
Думы коменданта
 очень высоки:
...мебель и пушнина,
 шелк и рысаки.

В голове у чеха
розовый туман.
Щелкнул каблуками:
«То не есть обман!
Колчака не згодно
отдавать на плен,
но то есть согласие,
но то есть обмен!»
Военком
в небритый
усмехнулся ус,
с сердца,
камнем скрытый,
отвалился груз.
Ну, а что Проскаков?
Хочешь знать о нем?
Он стоит у входа
с военкомовым конем.

3

«Шпарь, Сенюха!
Выгорело дело:
взяли в плен,
душа его из тела!
Стой сторожи,
глазу не спускай,
в рот не ложи
единого куска.
До ветру бегая,
воду кипятя,
помни вагон
на дальних путях.
Каждую минуту
держи в голове:

нас ведь —

всего-то

шестьсот человек!»

Ни ночью,

ни днем

не снимая тесак,

Проскаков

стоит и стоит

на часах.

А сотни

Проскаковых

бродят вокруг

среди белых,

последних,

разнузданных выюг.

И бродят

и бредят

о времени том,

когда они встретят

свой брошенный дом,

когда они в эти

вернутся дома,

не слыша

нигде

атаманьих команд,

и в землю воткнутся

тупые штыки,

и всхлынут о них

боевые стихи.

...А пока мы здесь

разговариваем,

десять лет прошло

сизым маревом.

Пронеслись

и канули,

плавя
длинный след,
эти
великановы
десять лет.
Не под тем ли
градом,
с тех ли
злых дождей
виться
белым прядям
в головах
вождей?
Знаю:
встанут новые
в новый путь,
только те —
суровые —
не вернуты!
Свежая,
сырая,
злая моя жизнь,
ветром раздираемая,
вейся
и кружись!
Что в нее
заманивает,
что влечет?
Только бы
— сама она
коснулась
о плечо:
Ходишь
проверяешь:
сердце
не старо ль?

Молодости свищешь
лозунг
и пароль.
Ты ведь
уже тоже
не очень
молода,
если подытожить
тяжелые года.
Как ни подытоживай
и как ни считай,
все-таки
выходит:
другим —
не чета.
Что же ты
не веришь,
сердце бережешь?!
Раз поцелуешь,
губы пережжешь?!
Свежая,
сырая,
неузнанная жизнь,
годы простирая,
взвивайся
и кружись!

„ВСТРЕТИТЬСЯ НА СВЕТЕ СУЖДЕНО НАМ ВПЕРЕДИ!“

Вот я, Проскаков Семен Ильич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Мохово — сельским секретарем и старостой, которые получили за свое предательство меня белым. Ехав по станционной дороге, да-

ли мне приказ слезть и сказав мне, что я тебя буду расстреливать, я, несмотря на свое бессилие, взял в свои изломанные руки кайлу и ударил гада кайлой, которого вышибло из памяти, и он забыл, что у него наган, отскочив от меня, и он начал в меня стрелять, стрелив семь раз, не попал, я избит был, унес половину смерти... Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырая земля и приняла в себя кровожадную пулю и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде, после чего изгнали чехов, я попал в Кольчугино.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих.

Четвертое

1

Так не зовут
 простого врага:
 «гад».

Тот,
 кто потом чужим
 богат,—
 гад,

тот,
 кто мученью
 чужому рад,—
 гад,

тот,
 чье веселье —
 зареве хат,—
 гад!

Под шумы
 речек,
под цокот
 белок,
страшные речи
идут у белых:
«...Помните —
 садик,
балкон,
 река...

Щадить краснозрых
нам не рука!

Те,
кто прервал
эту ровную жизнь,
на интервал
от меня держись!

Я,
моему государю
хорунжий,
нервов

и слабости
не обнаружу.

Я их,
как зайцев,
буду травить
плетью казацкой
из-под травы!..»

Беги,
Проскаков,
кройся в кусты;
гонят,
наскикивают
кони
в хлысты!

Слева

в плети
взят аргамак,
прямо

в плечи
шашки замах.
Беги,

Проскаков,
зверем травимый,
кровью горячей
следы свои вымой.
Жив ли ты,

нет ли,
друг мой
безвестный,—
свинцу

и петле
не стиснуть песни.
Пускай

убит ты,
немой
и строгий,—
тобою взвиты
эти строки!

2

Висков серебря
внезапную проседь,
стоял и стыл

Колчак на допросе.

Он никогда
не знал и не ведал
и не встречался
лицом к лицу

с тем,
кто вырвал
над ним победу
из рук холеных
в таежном лесу.

Он никогда
не знал и не понял,
вежливо сдержан,
изящно лукав,
что
не Англия
и не Япония —

Проскаков
держал его жизнь
в руках.

И, лишь выслушав
приговор смертный,
жизнь
перебравши

в последний раз,
вспомнил и он
о силе несметной,
тяжкой силе
восставших масс.

Вспомнил,
увидев
дымок на костре,
мирно курившемся
утром пастушьим...

И разорвал
тишину расстрел
эхом распарывающим
и растущим!..

«...Как иркутская
Чека

разменяла
Колчака,
так и прочих
выловим
свидеться
с Корниловым...»
Может,
эта песня
груба,
но больше
нет у меня
притязаний,
чтоб и моей
гореть на губах
вроде
этакой,
партизаньей!
...Всё пережив
и всё победив,
с прошлым
будущее сличая,
встань,
Проскаков,
и обведи
землю
выцветшими очам.
Как не узнать ее,
как не понять?!

Разве тебе
эта даль незнакома?
Разве не ты
вскочил на коня,
на боевого коня
военкома?
Разве не ты
в боевых рядах

поднимаешь
 лицо свое,
и под марш мой
 идешь сюда,
и на строчках моих
 поешь:

«...Сыты наши кони,
и крепок дом.
Нас никто не гонит —
мы сами идем.
Твердым, ровным шагом,
с веселым лицом.
Красную присягу
на сердце несем!»
Это тебе

 петь и плясать,
радоваться
 и веселиться.

Это твои
 звонки голоса,
явственные взоры
 и лица.

Это тебе
 жить и дышать,
скинув
 со счету всякого,
кто осмелится
 помешать —
песне и жизни
 Проскакова.

1927—1928



ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты произведений, напечатанные в данном сборнике, печатаются по изданию: «Николай Асеев. Стихотворения и поэмы». «С.П.», 1967, Л... Датировки написания сверены по пятитомному собранию сочинений Асеева (1963—1967), которое автор подготовил к печати сам.

Поэма «Семен Проскаков» автором скромно была названа «Стихотворными примечаниями к материалам по истории гражданской войны».

Отдельные главы ее печатались в 1927 г. в журналах «Красная новь», «Октябрь», «Новый мир». Впервые полностью произведение было напечатано в ГИЗе отдельным изданием в 1928 г.

Семен Проскаков, герой поэмы Асеева, лицо историческое. Родился в 1878 г. в Кузбассе, на Салаирском руднике. Отец — политический ссыльный, мать — крестьянка. Рано осиротевший, с 12 лет батрачил, семнадцать лет работал горняком на рудниках Кузбасса: Салаирском, Егорьевском, Центральном, Кольчугинском. В 1917 г. вступил добровольцем в Красную гвардию. Убежденный, стойкий боец революции, Семен Ильич Проскаков участвовал в подавлении белогвардейских мятежей, сражался в отряде Сухова, после разгрома отряда белогвардейцами в обстановке колчаковского террора работал агитатором за Советскую власть, прячась в крестьянских избах. В 1919 г. ушел к партизанам, и выполняя задание, был предан и пойман белогвардейцами. 46 дней непрерывно пытали Семена Проскакова, но он не выдал большевистское подполье. Приговоренный к расстрелу, бежал. В 1920 г. вступил в большевистскую партию.

Сражался в партизанском отряде Ролико-Виноградова, освобождая от колчаковцев села и города Кузбасса. В 20-е годы он написал воспоминания о своей жизни, которые были переданы в архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих. Подлинники этих воспоминаний прочитал Николай Асеев, знакомясь по архивам с документами по истории гражданской войны в Сибири. Отрывки этих воспоминаний целиком перенес потом в виде эпитафий в свою поэму — так красноречивы они были. Поэму о себе Семен Проскаков прочитал в 1928 году и написал письмо Н. Асееву. Проскаков до самой смерти своей (1941 г.) вел деятельный, активный образ жизни: сотрудничал в отряде ЧОНа, работал крепильщиком в шахте, участвовал в экспедиции по местам суховского похода. Когда началась Великая Отечественная война, пришел в военкомат с просьбой направить на фронт. Было ему тогда уже 63 года.

Л. Глебова.

СОДЕРЖАНИЕ

Россия издали	3
Кумач	4
Марш Буденного	6
Реквием	8
Синие гусары	10
«Не за силу, не за качество...»	13
Заплыв	15
Время лучших	18
Звени, молодость	20
За синие дни	22
Русская сказка	24
Мое солнце	30
Свет мой...	32
Чужая	34
Сухой доклад о жажде светлых речных прохлад	45
Лыжи	47
Дед	50
Бабка	52
Последний разговор	54
Летнее письмо	63
Роман прошлого года	65
Городок на Каме	68
Надежда	74
Двое идут	75
Снегири	77
Наша профессия	78

Друзьям	80
Мирской толк	82
«Мозг извилист, как грецкий орех...»	86
Еще за деньги люди держатся	87
Соловей	89
Памятник	91
«Что такое счастье? Соучастье...»	93
Песнь о Гарсиа Лорке	94
Оставаться самим собой	96
Никем не слышимый стук сердец	98
Семидесятое лето	99
Решение	100
Портреты	101
Зверинец яростных людей	102
Простые строки	103
Зерно слов	106
В конце концов	108
Живой	110
Лирическое отступление (фрагмент из поэмы)	113
Семен Проскаков (поэма)	115
Примечания	155

ИБ № 323

Николай Николаевич АСЕЕВ

**ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

Печатаются по книге «Н. Асеев.
Стихотворения и поэмы»,
изд. «Сов. писат.», Л. О., 1967

Редактор-составитель Л. В. ГЛЕБОВА

Художник Г. И. КРАВЦОВ

*Художественный редактор
А. С. РОТОВСКИЙ*

*Технический редактор
Г. В. АДОВА*

Корректор В. А. ЛУЗИНА

Сдано в набор 13. IX 1978 г. Подписано к печати 19. II. 1979 г. Бумага типографская № 3. Формат 70×100^{1/32}. Гарнитура—литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,45. Уч.-изд. л. 6,33. Тираж 50 000 экз. Заказ 9810.
Цена 90 коп.

Кемеровское книжное издательство,
Кемерово, Ноградская, 5.
Типография изд-ва «Омская правда».
Омск, пр. Маркса, 39.

90 коп.

КЕМЕРОВО 1979